

Неизвестным для меня способом

Автор:

Макс Фрай

Неизвестным для меня способом

Макс Фрай

Миры Макса Фрая

«Неизвестным для меня способом» – это, конечно, цитата из Хармса; полностью фраза звучит так: «Значит, жизнь победила смерть неизвестным для меня способом». Не знаю, все ли помнят, что произносит эти слова человек с тонкой шеей, который «забрался в сундук, закрыл за собой крышку и начал задыхаться». А потом обнаружил себя лежащим на полу. Сундука нигде не было. Сундук исчез! Все рассказы в книге примерно про это. Ну или для этого. Чтобы все эти ваши сундуки исчезали, один за другим.

Рассказ «Сорок третий» был опубликован в сборнике «Нада», рассказ «Голова и лира плыли по Гебру» – в сборнике «Карты на стол», обойтись без них было совершенно невозможно, очень уж качественно от этих рассказов рассеиваются сундуки.

Остальные тексты публикуются впервые.

Макс Фрай

Неизвестным для меня способом

© Макс Фрай, текст

© ООО «Издательство АСТ», 2019

Cartel[1 - Письменный вызов на дуэль (фр.)]

Приходи ко мне утром, в спешке, в смятении, толком не пробудившись, но уже позабыв, что снилось, трижды прокляв будильник, себя и весь мир, позавтракав полезной овсянкой, от которой ты будешь жить вечно, а все остальные сдохнут, хоть бы уже поскорей. Приезжай ко мне в лифте, в метро на работу, на пригородной электричке, на троллейбусе номер семь, толкаясь, наступая на ноги, задыхаясь, втайне желая всем, от кого пахнет потом и табаком, вариться в кипящем масле, корчиться, громко вопить от боли, а ты будешь торжествующе хохотать, тебе поставят пятерку, подарят собаку, сами разденутся, купят велосипед. Первым уроком сегодня черчение, вторым стоматолог, третьим квартальный отчет, а четвертым уроком нынче по расписанию я, староста отмечает отсутствующих, не сбежишь, не отвертишься, законспектируешь, доложишь начальству, объяснишь недовольным родственникам, выучишь наизусть, сдашь экзамен, откроешь зачетку, когда я метнусь навстречу, застряну у тебя в животе, напьюсь твоей крови. Имя мне будет Джид, а твое не успею спросить.

...Приходи ко мне в полдень, когда солнце так высоко и так яростно, ярко пылает, что кажется, нет ничего, кроме его ослепительно-белых лучей и золотой сияющей пыли; спойлер: не «кажется», ничего кроме них действительно нет. Полдень – лучшее время, чтобы прозреть, расстаться с иллюзиями, научиться видеть реальность такой, какова она есть, а увидев, оцепенеть от ужаса, но ни в коем случае не кричать, чтобы никто не услышал и не подумал, будто ты сумасшедший дурак, такому не место в светлом солнечном мире, в цивилизованном обществе, в доме образцового содержания, в элитном собачьем приюте с веганским кормом, в сияющем офисе блаженного Ратнасамбхавы, гнать его, отовсюду гнать. Не выдавай себя, не кричи, все равно не поможет, только я тебе помогу, приходи ко мне в полдень один, без спутников и свидетелей, даже тень с собой не бери. Приходи ко мне тайно, закутавшись в покрывало, полумертвый от ясности, легкий, как пепел, веселый от смертного страха, приближайся медленно, крадучись, кружась, как невесомая пыль. Я

войду в твое солнечное сплетение, вспыхну и засияю, как сияет полуденный мир. Имя мне Чинкуэда, твоего знать не хочу.

Приходи ко мне после обеда, сытый, расслабленный и довольный, дремлющий наяву за столом, заново забывший себя, приноси с собой свое время, которого не осталось, приводи с собой всех, кого никогда не любил, черную кошку, которую приютил, а потом выгнал за то, что была неласкова, желтого пса, которого пристрелили за то, что тебя укусил, сизого голубя, которого мог переехать машиной, но в последний момент побрезговал и свернул. Иди и не оборачивайся, обернешься – увидишь груды сокровищ, которые растерял по дороге, и свои дырявые руки, такими уже ничего не собрать, станешь оплакивать упущенные возможности, не утетишься, только ослепнешь от слез. Иди на мой голос впотьмах, на ощупь, отяжелевший от сытости, ошалевший от лютого голода, иди, натываясь на стены, все круша на своем пути, бранясь от злости, всхлипывая от беспомощности, кривясь от предчувствия боли, которая пронзит тебя позже, когда я войду в твое сердце и навсегда там останусь. Имя мне Дага, а ты свое потерял.

Приходи ко мне в сумерках, когда тени открывают глаза, воздух становится синим, и зажигаются фонари. Выйди из магазина, фитнес-клуба, автобуса, косметического салона, кофейни, неважно, главное выйди оттуда вот прямо сейчас на улицу города, который однажды выдумал, целых десять секунд в него верил, десять минут о нем горевал, десять часов считал себя идиотом, десять дней никому о нем не рассказывал, а потом, конечно, забыл. В этом городе я всегда жду тебя в сумерках на перекрестке, который ты когда-то увидел, а названия улиц на табличках прочитать не успел. Приходи ко мне, я дождусь, обожгу тебя синим сумраком, согрею фонарным светом, коснусь твоей шеи лезвием, так ласково, что убежать не станешь, да и куда тебе здесь бежать. Имя мне Нагината, а твое не имеет значения, чего зря гадать.

Приходи ко мне ночью, когда так темно, словно нас уже нет; но мы еще есть, не надейся, так легко не отделаешься, не ленись, поднимай свои веки, пересчитывай деньги и квадратные метры, допивай свою горькую чашу, доедай диетические голубцы, надевай пальто, не забудь про шапку и шарф, варезку потерял, мама будет ругать, ты не плачь, завяжи шнурки, затяни их потуже,

открывай окно, выходи. Забери с собой несколько сотен чужих секретов, которые по глупости разболтал, и одну настоящую тайну, которую выдал нарочно, чтобы все рухнуло, и свое отчаяние от того, что не рухнуло, не получилось, плохо предал, неэффективно, не рассчитал, мама будет ругать, свет померкнет, наступит ночь. Приходи ко мне ночью в шапке, с шарфом на горле, со шнурками во рту, не пожалеешь, я тебя обниму, снесу тебе голову одним поцелуем, сверху, с оттяжкой, имя мне будет Шамшир, а у тебя не будет ни имени, ничего.

Приходи ко мне на рассвете после бессонной ночи, выпив для храбрости крепкой холодной воды из-под крана, приноси с собой память обо всех бессонных ночах, тоску неизвестно о чем и другую, известно о чем, но кому от этого легче, и усталость, от которой хочется плакать, но взрослые люди не плачут, взрослые люди поют караоке, в хоре и в душе, взрослые люди пляшут, всегда на чьих-то костях, мы с тобой тоже спляшем, я на твоих, а ты на игральных, если хватит удачи, выпадет стрит, улица, по которой сможешь уйти почти невредимым, с опаленной бровью, ладонью, щекой и судьбой, вернуться домой на рассвете, подняться пешком на четвертый этаж, ключ потерял, но дверь нараспашку, хлопает на ветру, солнце взошло, вода по колено, вишни в цвету, зеркало в коридоре сверкает, как медный щит, глянешь – окаменеешь, но успеешь узнать меня. Я смотрю на тебя из зеркала, я – твое отражение, я – доживший до этого утра ты.

А ты думал, кто?

Сорок третий

Впервые это случилось, когда ему было тринадцать – здоровый, в сущности, лоб. Сказками уже давным-давно не зачитывался; собственно, вообще ничем не зачитывался с тех пор, как в трех кварталах от дома открылся видеосалон, куда всеми правдами и неправдами стремился попасть хотя бы пару раз в неделю. Взахлеб смотрел ужастики и боевики.

А город, который он увидел, был совершенно сказочный, как с картинки, даже скорей из мультфильма – знал бы про аниме, сразу подумал бы: «анимешный», –

но этого термина тогда еще не употребляли. Светлые стены невысоких, как бы нарочито хрупких домов, разноцветные оконные стекла, хрустальные крыши, бесчисленные мосты, протянутые не только над узкой быстрой рекой, но и просто над улицами, между домами, на уровне второго – третьего этажей, лестницы всех мыслимых форм и конструкций, соединявшие тротуары с мостами и крышами, иногда – с тенью соседнего дома, с проплывающим облаком или просто ни с чем.

Он тогда болел; ничего серьезного, обычная простуда, но часто просыпался от кашля, жадно пил воду из специально оставленной на стуле возле дивана чашки и снова засыпал. Под утро вода в чашке закончилась. Вставать было лень, но пить хотелось так сильно, что пришлось. Босиком пошлепал на кухню, напился, вернулся обратно в комнату и совершенно случайно взглянул в окно. Сон слетел с него сразу, да и с кого бы он не слетел, когда за окном вместо заслоняющей половину неба блочной девятиэтажки какой-то фантастический, невозможный город с мостами, хрустальными крышами и винтовыми лестницами, ведущими в никуда.

В этом городе тоже была ночь, но гораздо более светлая, чем он привык, небо не чернильное, а почти бирюзовое, всюду на улицах круглые белые и зеленые фонари, окна в домах тоже светятся, и это оказалось одним из самых удивительных впечатлений – светящиеся изнутри разноцветные оконные стекла, как будто глядишь на зажженную лампу через калейдоскоп.

Стоял у окна и смотрел на этот удивительный город, которого быть не могло. Думал: «Наверное, на самом деле я не проснулся», – и это само по себе свидетельствовало, что все-таки проснулся. Никогда раньше не говорил себе во сне: «Я сплю». Но хотелось более веских доказательств. Поэтому несколько раз ущипнул себя, очень больно, но все-таки для полной уверенности недостаточно. Тогда взял с письменного стола ножницы и с силой провел лезвием по руке. Ножницы были тупые, но удалось расцарапать кожу до крови. И тогда наконец успокоился, выдохнул – все-таки не сон.

Потом уже не колебался. Быстро оделся и вышел из дома, захватив в прихожей куртку и сунув ноги в ботинки, отцовские вместо своих; ошибку осознал уже в подъезде, но возвращаться не стал, только потуже затянул шнурки. Дом был пятиэтажный, без лифта, поэтому спускаться пришлось пешком. Шел очень медленно, отчасти из-за болтающихся на ногах ботинок, отчасти потому, что ему

было страшно: вот выйду из дома, вокруг этот удивительный город – и что тогда? Нет, правда, что? Я там никого не знаю, и меня тоже – никто. Может быть, там живут людоеды? Или вампиры? И эта красота за окном – ловушка, чтобы выманить всех, кто не спит? И еще неизвестно, какой у них там воздух. Им вообще можно дышать? Или как на других планетах в фантастических фильмах состав атмосферы: ацетон, аммиак?

Но страх не мешал идти вниз по ступеням, не останавливаясь, шаг за шагом, не сомневаясь, что он все делает правильно, так обязательно надо, других вариантов просто нет. Страх был отдельно, а весь остальной он – отдельно. И оказалось, что весь остальной он гораздо больше, чем страх. И сильнее. Это было удивительное открытие; потом оно еще пригодилось не раз.

Когда открывал дверь подъезда, сердце так колотилось, что, думал, выскочит или, наоборот, остановится от нагрузки, как перегревшийся мотор. Но все равно оттянул язычок защелки, навалился на дверь плечом, вышел, в первый момент вообще ничего не понял, кроме того, что этим холодным морозным воздухом вполне можно дышать, а потом увидел, что стоит в своем дворе, напротив – панельная девятиэтажка, слева – мусорные баки, справа – выезд на улицу, за спиной – черная железная дверь подъезда, как обычно, как и должно быть, все как всегда.

Некоторое время стоял неподвижно, затаив дыхание, сам не знал, чего ждет – то ли что сказочный город передумает и вернется, то ли что привычный пейзаж тоже исчезнет, девятиэтажка, мусорка, синяя дяди Володина «девятка», неизвестно чей горчично-желтый «москвич», и он сам тоже исчезнет, в первую очередь – он сам.

В любом случае так ничего и не дождался. И, тем более, не исчез. Наконец развернулся, нажал на кодовом замке кнопки «3», «8» – и пошел обратно, домой.

Поднявшись на четвертый этаж, спохватился: «Как же я войду?» – но в кармане куртки неожиданно нашлись ключи, дверь удалось открыть, а потом запереть бесшумно, поэтому о его ночной отлучке родители так и не узнали. А рассказывать, конечно, не стал. Вообще старался вспоминать об этом пореже, а когда все-таки вспоминал, говорил себе: я болел, у меня могла резко подняться

температура. Бред – вполне обычное дело, когда у человека жар.

Сам знал, что это никуда не годное объяснение. Но оно все равно его успокаивало. Такой вот парадокс.

* * *

Второй раз это случилось через два с лишним года. Они с родителями только что переехали в дедовскую квартиру на втором этаже большого сталинского дома, почти в самом центре города, непривычно просторную и, как почему-то казалось, полную тайн, хотя откуда бы взяться тайнам у деда, всю жизнь прослужившего министерским чиновником? Не такой он был человек. Однако атмосфера в квартире все равно была немного таинственная, ну или просто непривычная. Скорее всего, так.

В ту ночь он засиделся, готовясь к экзамену; на самом деле грядущий экзамен просто оказался отличным предлогом не поехать на дачу с родителями, впервые в жизни остаться одному дома почти на трое суток, а не на какие-то несчастные полдня. Поэтому жалко было вот так сразу ложиться и засыпать. Гораздо интересней сидеть за старым письменным столом в бывшем дедовском кабинете, с открытым где-то на середине учебником, исчерканной тетрадкой с задачами и полной чашкой растворимого кофе, который ему не особенно нравился, но казался символом настоящей взрослой жизни, всего самого лучшего, что в ней есть – одиночества и свободы не спать хоть до самого утра.

Несмотря на кофе, в начале третьего начал клевать носом. Какое-то время пытался бороться со сном, но потом махнул рукой, сполз со стула, принялся стягивать брюки, замутненный усталостью взгляд случайно упал на окно, и он застыл, как стоял – полусогнутый, одной ногой застрявший в штанине, – потому что там, за окном, было бирюзовое небо, круглые зеленые фонари, светлые стены, хрустальные крыши, разноцветные оконные стекла, лестницы и мосты. Не закричал: «Да! Да! Да!» – только по привычке вести себя по ночам тихо, чтобы не разбудить родителей, забыл, что в квартире больше никого нет. Но очень хотел торжествующе закричать, потому что город за окном казался ему главной личной победой всей жизни; в каком-то смысле он и был победой – над собственным здравым смыслом. Сколько раз говорил себе, что никакого волшебного города не было, а он все-таки есть.

Наконец натянул штаны, развернулся бежать на улицу, но остановился на пороге комнаты, вспомнив, чем это закончилось в прошлый раз. Решил: если я вижу город в окно, значит, и выходить к нему надо из окна, а не в обход, через подъезд. Здесь всего-то второй этаж, не о чем говорить.

Ни минуты не колебался. Распахнул окно, повис на руках, уцепившись за подоконник, прыгнул. Когда разжимал пальцы, был твердо уверен, что на этот раз все получится, но когда ступни коснулись земли, еще до удара, неприятной, звонкой, вибрирующей волной отозвавшегося во всем теле, уже знал, что не получилось ничего. Нет никакого города с хрустальными крышами и разноцветными окнами. Просто нет, не может его быть, таких не бывает. Подумал: я так устал, что уснул на ходу, раздеваясь. И увидел сон. И прыгнул за ним в окно – хорошо, что со второго этажа, а не с какого-нибудь девятого. Интересно, как я теперь обратно залезу? Ключи-то остались в замке, изнутри.

Тем не менее, как-то вскарабкался обратно в квартиру, соседи с первого этажа спали крепко, не слышали, как он скакал на их подоконнике, и на улице было пусто, в общем, никто его не застукал, обошлось без скандала. Вот и хорошо.

Очень устал, но до утра ворочался на внезапно ставшем неудобным диване. Кое-как задремал, но подскочил, проспав всего пару часов. Даже не позавтракав, поехал на вокзал, а оттуда электричкой на дачу. От станции до поселка пешком почти пять километров, оно и к лучшему: почти успокоился, пока дошел.

Родители не столько обрадовались, сколько встревожились. Когда сын-подросток добровольно приезжает на дачу, от которой прежде отбрыкивался, как мог, впору задуматься, все ли у него хорошо. Сказал им: «Зубрить надоело, вот и приехал». А что еще было говорить.

* * *

В третий раз он увидел город с хрустальными крышами не за окном, а в щели забора, ограждавшего какую-то стройку; дело было под утро после выпускного, он провожал домой Аллу, самую красивую девочку в классе, которая прежде не

обращала на него внимания, но на выпускном вдруг согласилась с ним танцевать, и второй раз согласилась, и третий, и на попытку поцеловать совершенно не рассердилась, только сказала: «Ты что, не здесь же!» – и предложению уйти вместе пораньше так явно обрадовалась, что он почти испугался: ну и что теперь делать? Слишком легко все испортить, когда внезапно стало так хорошо.

Теоретически он провожал Аллу домой, но на самом деле они нарезали какие-то нелепые, хаотические петли по городу, пили розовое шипучее вино, бутылку которого он заранее припрятал – не в кустах за школой, как делали почти все, а в детском саду через дорогу, в разноцветном фанерном паровозике; Алла хохотала до слез, увидев его тайник, но находчивость оценила. Ну и вообще все шло отлично, пока они не вышли к стройке, окруженной забором, здесь не было ни людей, ни фонарей, даже луна тактично скрылась за тучами, он восхищенно и почти обреченно думал: «Сейчас, сейчас!»

Алла стояла, прислонившись спиной к забору, к нему лицом, смотрела испуганно и вызывающе – ну? Обнял ее, неловко и неумело, собственные руки казались слишком большими, тяжелыми и неудобными, но потом это стало неважно, вообще все стало неважно, и Алла изменившимся, взрослым, как у женщин в кино, хриплым, воркующим голосом бормотала: «Только осторожно, платье! Главное – его не порвать!»

Из-за платья, собственно, все и случилось: кружево зацепилось за какую-то дурацкую проволоку, пришлось остановиться, перевести дух, унять дрожь в руках и очень аккуратно, медленно, подсвечивая себе зажигалкой, его отцеплять. Тогда и заметил, что из щели между щитами сочится какой-то необычный зеленоватый свет. Заглянул, и его возбуждение, робость, восторг мгновенно сменились возбуждением, робостью и восторгом совсем другого рода: там, за хлипким строительным забором, высились светлые стены, сверкали хрустальные крыши и разноцветные окна, изгибались мосты, лестницы устремлялись в темно-бирюзовое нездешнее небо, сияли круглые белые и зеленые фонари. Он был готов заплакать от счастья; Алла спросила, уже вполне обычным голосом: «Ты чего?» Поманил ее: «Смотри сюда, видишь? Ты видишь?» – и тогда она завизжала так громко, что уж лучше бы ответила: «Ничего».

Так и не узнал, что она там увидела. Потому что, если просто строительную площадку, непонятно, чего так орать. А если все-таки город с хрустальными крышами, тем более непонятно. Он же совсем не страшный. Очень красивый. Когда его видишь, вообще ни о чем думать невозможно, кроме того, как бы туда попасть.

А тогда все было, как в каком-то дурном фильме ужасов, снятом без сценария, наобум. Алла просила: «Мне страшно, пошли отсюда», – он зачем-то ее уговаривал: «Давай перелезем, я тебя подсажу».

Дело кончилось тем, что Алла обозвала его придурком и разными другими словами, не столько даже обидными, сколько неожиданно грубыми – почему так? За что? – и убежала в ночь, размазывая по лицу черные от туши слезы. А он, конечно, не стал ее догонять, какое там догонять, какая вообще может быть Алла, когда удивительный город с хрустальными крышами – вот он. Всего-то и надо – перелезть через дурацкий забор.

Потом, обнаружив себя среди мешков цемента, досок, бетонных блоков, огромных металлических бочек и прочей бессмысленной строительной ерунды, невольно позавидовал Алле. И вообще всем девчонкам в мире – их легким слезам. Потому что иногда бывает так плохо, что очень надо заплакать, а ты то ли уже разучился, то ли вообще никогда не умел.

Никому никогда об этом не рассказывал. И Аллу больше не видел; честно говоря, и не хотел. На самом деле был очень ей благодарен за ту истерику – лучшее доказательство, что город с хрустальными крышами ему не примерещился. Была бы за тем забором обычная стройка, Алла, скорее всего, обиделась бы на глупый розыгрыш, но крик бы не подняла. Так что был город, был, теперь он знал это точно. Просто потом что-то пошло не так, и все исчезло, но это ничего не меняет. В смысле не отменяет ни черта.

* * *

В стремлении хоть как-то уравновесить потерю, решил стать архитектором. Явил чудеса упорства, готовясь к вступительным экзаменам, но предсказуемо не

прошел даже предварительный отбор, где смотрели рисунки. Раньше надо было начинать готовиться, причем намного раньше, за несколько лет; почувствовал себя наивным идиотом, обнаружив, что почти все остальные абитуриенты оказались выпускниками художественных школ и училищ, на худой конец изостудий и рисовальных кружков.

Потом, уже гораздо позже, понял, что все только к лучшему. Какой из меня архитектор? Куда мне, зачем? Небось всю жизнь пытался бы воспроизвести свой хрустальный сказочный идеал, да кто же мне дал бы. Сиди, черти свои фантазии на бумаге в свободное от основной работы время, тем и довольствуйся: таких городов нынче не строят. Да и не строили никогда. Очень тяжелая вышла бы жизнь, полная горечи ежедневных поражений в безнадежной, бессмысленной борьбе с естественным сопротивлением строительного материала и заодно культурного контекста. Ну уж нет.

А тогда был так раздавлен неудачей, что поступил, не раздумывая, в Политехнический, где конкурса не было вовсе. Как вскоре выяснилось, правильно сделал: на пороге, нетерпеливо похрюкивая модемами, уже стояло информационное будущее, и ему с этим будущим оказалось по пути.

Настолько по пути, что к третьему курсу у него уже была отличная работа, а на защиту диплома он приехал в подержанной, но с виду такой навороченной иномарке, что в последний момент постеснялся выходить из нее возле института, на глазах у преподавателей – зачем их дразнить? Развернулся, отъехал, припарковался за несколько кварталов и пошел пешком.

Собственно, тогда и увидел город с хрустальными крышами в четвертый раз, впервые не ночью, а среди бела дня. И не на месте двора или улицы, а в темном подземном переходе, вместо прилавков с пирожками, кружевными трусами и дешевой бижутерией. Звучит нелепо, но было именно так. Рванул туда, не раздумывая, в твердой уверенности – теперь-то точно успею, войду!

Никуда не вошел, конечно, с разбегу врезался в лоток с пирожками, сам расшибся и все на хрен перевернул. Без объяснений сунул вопящей тетке стодолларовую купюру и убежал, не дожидаясь ни благодарности, ни неприятностей, ни скорой помощи, которую наперебой предлагали вызвать

другие торговки – из рассеченной брови вовсю хлестала кровь, хотя рана оказалась совсем пустяковая, заклеил ее потом пластырем, и дело с концом. На защиту пришел с опозданием, в мокрой сорочке, которую безуспешно пытался отстирать в туалете от кровавых пятен; в общем, произвел настоящий фурор. Одно из тех дурацких приключений, переживать которые не особо приятно, зато потом всю жизнь можно с удовольствием вспоминать.

* * *

Жил потом хорошо. Работа занимала внимание, денег хватало на путешествия, которые он любил; со временем стал достаточно востребованным специалистом, чтобы выбирать места работы по своему вкусу, и где только не пожил. Легко приживался на любом новом месте и так же легко с него снимался, чтобы начать заново где-нибудь еще. Не то чтобы не позволял себе ни к чему по-настоящему привязываться, а просто не привязывался, без каких-то специальных усилий. Объяснял себе и другим: такой уж я человек.

Чаще всего приходилось говорить это женщинам, с которыми обычно складывалось легко и приятно – до поры до времени, пока его в очередной раз не подхватывал ветер перемен. Все его любви были счастливыми, с радостью женился бы на каждой из них – если бы хотел хоть какого-нибудь намека на стабильность и постоянство. А он не хотел. Стабильность и постоянство явно не для человека, который всегда выбирает жилье на нижних этажах, с расчетом, что если за окном однажды появится удивительный город с хрустальными крышами, мостами и лестницами, можно будет без особого риска для жизни попробовать туда попасть.

Впрочем, из окон своих квартир он больше никогда этот город не видел. Зато однажды пришлось спускаться за ним на дно – не то чтобы пропасти, но довольно глубокого каньона, без страховки и прочих вспомогательных средств. Да чего только не было: вброд пересекал мелкую, но очень быструю речку, лез в строительный котлован, выскакивал на летное поле, ломился в подсобное помещение гипермаркета, в слоновник Пражского зоопарка, в закрытый музей и просто на частную территорию, последнее – неоднократно; впрочем, до вызова полиции ни разу не доходило, но не потому что был осторожен, скорее, умел обаятельно извиняться, да и просто везло.

Однажды увидел хрустальные крыши из окна пассажирского поезда и, не раздумывая, выскочил на ходу. Удивительно, но даже не расшибся. А что оказался неведомо где, среди бескрайних полей, без денег и документов, с разбитым сердцем и полными невыплаканных слез глазами, так к этому было не привыкать. Выкрутился, конечно, он всегда выкручивался. Быстро этому научился. У того, кто готов в любой момент без сомнений, не раздумывая, не подстраховываясь, броситься в погоню за миражом, иного выхода нет.

Со временем немного успокоился, привык к мысли, что город с хрустальными крышами недостижим. То есть войти в него и остаться там жить, скорее всего, никогда не получится. То ли он в другом измерении, то ли все-таки просто галлюцинация, такая вполне счастливая разновидность шизофрении или какого-нибудь другого психического заболевания, когда большую часть времени ты совершенно нормален, но изредка случаются приступы. И, в общем, слава богу, что случаются. Очень грустно было бы без этих приступов жить.

Близкий друг, записной скептик, почти воинствующий материалист, как-то признался ему, что не верит ни в какие чудеса, потому что лично с ним они не случаются. Объяснил: для меня поверить в сверхъестественную галиматью все равно, что признать себя недостойным ее ничтожеством. Вот если со мной начнет случаться всякое необъяснимое, тогда пересмотрю свою позицию, а пока – извини, но нет.

Слушая друга, думал: получается, в моем положении считать удивительный город чем-то бо?льшим, чем просто галлюцинация, тоже означает признать себя недостойным ничтожеством, которое туда не пускают. Попытался рассердиться или хотя бы обидеться, но ничего не вышло. Наоборот, как-то подозрительно легко согласился с этой идеей: ладно, пусть. Но будь я хоть трижды ничтожество, а сердце мое исполнено любви к миражу с хрустальными крышами, и единственный способ хоть как-то ее выразить – это идти навстречу всякий раз, когда позовут.

* * *

Одинокая старость оказалась вовсе не так плоха, как расписывали приятели и коллеги, огорченные его нежеланием знакомиться с их незамужними родственницами и подругами, чтобы совместно вскочить в последний вагон

уходящего брачного экспресса. Собственно, старость вообще ничем не отличалась от всей остальной жизни, разве что из зеркала в спальне все чаще выглядывал какой-то незнакомый, довольно противный дед, и от некоторых видов активного отдыха постепенно пришлось отказаться; впрочем, к тому времени они как раз успели поднадоесть.

Плавать не разлюбил, наоборот, полюбил еще больше. Даже поселился у теплого моря, чтобы всякий раз, как захочется искупаться, то есть примерно трижды в неделю, к нему не летать.

В ноябре обычно уже никто не купался: курортники уезжали, для местных температура воды плюс восемнадцать была чересчур холодной, а ему, выросшему на севере, в самый раз. Плавал каждый день, наслаждаясь полным одиночеством, как будто он здесь единственный житель, законный владыка каменистого пляжа и сопредельных вод.

Всегда любил заплывать далеко, так, чтобы берега было не видно. Это совсем нетрудно, если не спешить, не выкладываться по полной, время от времени переворачиваться на спину и отдыхать, покачиваясь на волнах. Правда, чем холодней становилась вода, тем короче делались заплывы. Все-таки переохладиться нельзя. При плюс восемнадцати позволял себе находиться в воде самое большее – час. Ладно, иногда полтора.

Когда во время одного такого заплыва увидел вдаль не просто незнакомый, а даже на самых подробных картах не обозначенный остров, сразу понял, что его там ждет. Хотя с такого расстояния ничего было не разглядеть. Но все равно разглядел – то ли стариковскими дальноточными глазами, то ли измученным долгой разлукой сердцем – благородную белизну городских стен, ослепительный блеск хрустальных крыш. Подумал: «Сорок третий раз», – и сам удивился. Оказывается, я подсчитывал все наши встречи? До сих пор был уверен, что нет.

Навскидку прикинул расстояние, трезво оценил свои силы. Понял: пожалуй, не доплыву. Но все равно, конечно, поплыл, потому что выбора не было. Никогда его себе не оставлял.

Замерзать оказалось совсем не мучительно, даже отчасти приятно. Просто плыл все медленней, и совсем не хотелось стараться, делать усилия, увеличивать скорость – зачем? Знал, что не доплывет до острова, где теперь уже явственно виделись светлые стены, лестницы, крыши, мосты, но это не вызывало у него ни страха, ни даже внутреннего протеста, только благодарность за возможность вот так по-дурацки, очень счастливо, совершенно бессмысленно умереть. Думал: по крайней мере, на этот раз не обломаюсь. Просто не успею убедиться, увидеть своими глазами, что на самом деле никакого города нет. Хороший в общем финал.

Мысли тоже становились медленными и короткими, как движения. Как будто несколько суток не спал и теперь отрубашься на ходу. Однако голову держал над водой, потому что хотел смотреть на город, видеть, как он приближается, медленно, слишком медленно, но все равно.

Так и не понял, откуда взялась лодка. Вроде бы не плыла навстречу. Или плыла, просто он не видел? Или все-таки видел, просто не осознавал? Трудно сказать, как было на самом деле. Но лодка появилась, факт. То ли сам в нее влез, то ли его втащили, это тоже прошло как-то мимо сознания. Когда более-менее собрался с силами – ровно настолько, чтобы осознать себя, уже лежал в этой лодке, в неудобной, дурацкой позе, кто-то растирал ему ноги, неразборчиво бормоча невнятное, то ли ругался, то ли читал заклинания, то ли просто утешал.

Долго беззвучно шевелил губами, пытаюсь что-то сказать, на самом деле неважно что, лишь бы издать хоть какие-то звуки, хорошо быть живым, но плохо немым. Наконец язык ему подчинился, и он сказал: «У меня при себе нет монетки, очень неловко вышло, всегда за себя платил», – и тогда все еще неразличимый, невнятный кто-то рассмеялся и сказал, на этот раз очень четко, звонким, то ли женским, то ли мальчишеским голосом, на вряд ли родном, но все равно почему-то понятном ему языке: «Зачем вам деньги? Я – не Харон».

Когда наконец смог – не открыть глаза, они давно были открыты, а усилием воли заставить их сделаться зрячими, – из невнятного зыбкого разноцветного марева проступило лицо, а потом и вся остальная женщина, ярко-рыжая, синеглазая, ослепительно белокожая, полная, с пышной грудью, не особенно молодая, средних лет. Такой тип ему никогда не нравился, но эта женщина предсказуемо показалась восхитительной – когда то ли еще умираешь, то ли уже воскресаешь, того, кто милосердно держит тебя за руку, поневоле сочтешь самым прекрасным в мире существом.

Она улыбнулась, сказала: «Хорошо, что я вас заметила; еще лучше, что на берегу нашлась чья-то лодка. Совсем отлично, что я рыбацкая дочка и умею грести. Было бы чертовски обидно, если бы вы до нас не доплыли – именно теперь, когда мы уже окончательно и бесповоротно есть».

И начал с кота

Павел

Сам не знал, зачем это сделал. Единственное объяснение – был пьян. Но оно не годится, потому что сколько там они с Йенсом выпили. Упаковку пива на двоих. Вполне достаточно, чтобы оставить машину в Йенсовом дворе и пойти домой пешком, но уж точно не чтобы писать на стенах. Какая ерунда.

Виной всему, конечно, мелок. Откуда-то взялся в кармане. Ну, то есть на самом деле ясно откуда – Лизка подложила. Йенсова дочка ему симпатизирует и часто тайком подкладывает в карманы пальто гостинцы – то каштан, то конфету, то точилку для карандашей. В содеянном никогда не признается, когда он благодарит ее за подарки, краснеет и убегает; ну, это нормально для застенчивой барышни пяти лет. Но гостинцы продолжают прибывать.

На этот раз Лизка подсунула ему восковой мелок ярко-синего цвета. Нашарил его, когда искал телефон. Телефон, впрочем, тоже был на месте; он зачем-то посмотрел время: двадцать два тридцать восемь. Сам не знал, на кой ему понадобилась эта бесценная информация. Спрятал телефон на место, с досадой повертел в руках мелок. Терпеть не мог бесполезный хлам, старался избавляться от лишнего барахла сразу по мере его появления, но Лизкины каштаны, желуди, фигурки Лего и прочие драгоценности неизменно тащил домой и складывал в специально отведенную для них коробку: все-таки выбрасывать детские подарки как-то нехорошо.

Уныло спросил не то себя, не то мироздание, зачем-то сделавшее его владельцем этого имущества: ну и что мне с таким счастьем делать? – имея в

виду не столько конкретный мелок, сколько Лизкины дары в целом, но и мелок все-таки тоже, потому что он уже был в руках и, можно сказать, взывал. И тут на глаза попалась стена. Идеальная, чистая, гладкая светло-серая стена недавно отремонтированного двухэтажного дома, освещенная ярким фонарем. Не стена, а мечта хулигана. Такое совершенство грех не испортить. А то чего оно.

Огляделся. Вокруг никого не было – неудивительно, на дворе поздний вечер; впрочем, на этой узкой, короткой улице безлюдно всегда. И он – рывком, стремительно, зачем-то задержав дыхание, как будто нырял в ледяную воду – написал на стене, с нажимом, размашистым крупным почерком: «Меня зовут Павел, мне тридцать восемь лет». Только потом осознал содеянное и содрогнулся. Писать на стенах само по себе несусветная глупость, но если уж взялся, написал бы что-нибудь интересное. Какую-то красивую цитату или, наоборот, ругательство. Ругательство это хотя бы условно смешно. Или нечто абсурдное. Или неизменно поднимающую настроение всем случайным свидетелям лирическую банальность: «Я тебя люблю». Но зачем писать на стене свое имя и возраст, правдиво, как в анкете? У него не было ответа на этот вопрос. Попытался стереть дурацкую надпись, но ладонью она не стиралась. Надо было попробовать рукавом, но пожалел пальто.

Рута

Сама не знала, зачем это сделала. Единственное объяснение – была пьяна. Но оно не годится, потому что сколько там они с Машкой выпили. Бутылку муската на двоих. Вполне достаточно, чтобы идти потом домой нараспашку, так и не втащив шапку из кармана пальто, но даже это вряд ли может считаться великим пьяным безумством: ночь выдалась теплая и безветренная. Прекрасный в этом году ноябрь.

У реки почему-то ярко, победительно пахло арбузом, не бледной немочью из супермаркета, а настоящим свежим сезонным арбузом только-только с бахчи, как папа привозил; ездил за ними два-три раза за лето, она по малолетству не интересовалась куда, привозил оттуда полный багажник и еще несколько штук в салоне. И вот те папины арбузы пахли на разрезе именно так, как сейчас воздух возле реки. Жалко все-таки, что потом их семье пришлось насовсем уехать с юга; она до сих пор тосковала по тем местам, иногда почти всерьез думала – а

может, вернуться обратно, в город своего детства? Но и сама понимала, что возвращаться некуда. Теперь там вообще другая страна.

В общем, расчувствовалась – от арбузного запаха, веселого шума реки, теплого ночного воздуха, легкости собственных шагов в новых спортивных ботинках. Это само собой. Но все равно непонятно, почему, увидев на свежеремонтированной стене в трех кварталах от дома дурацкую надпись: «Меня зовут Павел, мне тридцать восемь лет», – достала из кармана маркер и дописала: «Я – падший ангел. Господь отвернул от меня свой сияющий лик». То ли надпись ей показалась такой душераздирающе беспомощной, что невозможно просто так мимо пройти, то ли – и это гораздо больше похоже на правду! – новенький японский светящийся маркер, Машкин подарок, жег карман и требовал немедленного применения. Но само по себе наличие маркера не объясняет, почему написала именно про падшего ангела и, пристрелите меня кто-нибудь, сияющий лик. Это было настолько не в ее духе и вкусе, настолько не то, что обычно первым приходит в голову, и даже вторым не приходит, и каким-нибудь пятьдесят девятым, вообще никогда, ни при каких обстоятельствах, но почему-то пришло сейчас.

Да просто потому, что дура, – сказала она себе и пошла дальше, домой. Вернее, попрыгала туда на одной ножке, просто так от избытка чувств. Здоровая вроде бы лошадь. Ну, то есть корова. В смысле взрослая тетка тридцати семи лет. Давным-давно не положено на одной ножке скакать, разве только в фитнес-клубе, за деньги. А бесплатно по улице – ни-ни. Эти мысли ее сейчас веселили – и что дура, и что не положено. И вообще все стало как-то удивительно здорово, видимо, глупости не только поднимают настроение, но и прибавляют сил.

Александр

Сам не знал, зачем это сделал. Единственное объяснение, которое примирило бы его с собственной дуростью, – был пьян. Но это неправда, последний раз он был пьян на прошлой неделе, когда Эльза привезла из Ниццы полный чемодан разноцветных ликеров, которые сразу же окрестила «ницшеанскими», и они принялись увлеченно дегустировать добычу, каждого по чуть-чуть, буквально по глотку; вот тогда на пятнадцатом, что ли, глотке почувствовал необычайную легкость в мыслях и – вероятно для равновесия – смешную ватную тяжесть в

ногах.

Но при всем уважении к ницшеанским ликерам, вряд ли их благотворное воздействие могло растянуться почти на неделю. Не таков человеческий организм.

На самом деле просто настроение было очень хорошее. Даже, пожалуй, немного слишком – с таким до утра не заснешь. Потому что возвращался от Эльзы, потому что в условном кармане – на самом деле, конечно, на банковском счете – лежал полученный чуть раньше оговоренного срока гонорар. Потому что дома его ждали сонный теплый кот Валтасар и работа – в той самой благословенной стадии последней трети, когда доделать осталось совсем немного, и это упоительно приятно и легко. И еще потому, что больше всего на свете любил идти по городу за полночь и думать, как много таких вот темных осенних, морозных зимних, душистых весенних, светлых коротких летних ночей еще впереди. И тут вдруг эта прекрасная в своей абсурдной нелепости надпись: «Меня зовут Павел, мне тридцать восемь лет», – и чуть ниже, натурально огненными буквами: «Я – падший ангел. Господь отвернул от меня свой сияющий лик». Между Павлом и ангелом осталось немного свободного места, и это был неодолимый соблазн, а он всегда легко поддавался соблазнам, поэтому достал из кармана яркий ядовито-зеленый фломастер, который зачем-то носил в этой куртке уже второй сезон, и приписал самое лучшее из всего, что опробовал на себе и теперь с чистой совестью мог порекомендовать любому страдальцу, включая падших ангелов: «Я художник. У меня есть кот».

Павел

Наутро настроение было скверное. И даже на похмелье не спишешь, не с чего ему быть. Сколько там того пива выпили, выветрилось прежде, чем до дома дошел.

Какое-то время делал вид, будто не знает, с чего вдруг ему так паршиво. Но знал, конечно. Из-за дурацкой надписи. И даже не потому, что испортил, дурак, хорошую чистую стену. А потому, что не придумал ничего более остроумного, чем написать там свое дурацкое, никому не интересное имя. И еще более дурацкий возраст. Как будто кроме меня, скучного идиота, и моих паспортных

данных ничего больше на свете нет.

Весь день ходил как в воду опущенный. Все его раздражало – сырая погода, затянувшаяся возня с документацией на работе, озабоченные физиономии коллег. Но больше всего – собственное отражение. В офисе как назло было много зеркал и просто блестящих отражающих поверхностей, так что отовсюду, куда ни глянь, таранилось его собственное лицо, бледное, щекастое, с широко расставленными глазами и слишком высоким лбом; слава богу, пока без залысин, с ними я буду выглядеть совсем как старый мудака, – тоскливо думал он.

Есть не хотелось. Вместо обеда пошел пить кофе, причем не в ближайшую кофейню, а аж за реку, в условно любимую; на самом деле просто когда-то назначенную любимой, уже сам забыл почему. Взял чашку, вышел на улицу, сел на влажный металлический стул. Пил мелкими глотками горький горячий кофе, который, положа руку на сердце, не особо любил. И не то чтобы испытывал от него такую уж великую бодрость. Просто все вокруг пили кофе, и он за компанию как-то втянулся и привык. Подумал: интересно, а я вообще хоть что-нибудь люблю из того, что каждый день делаю дома и на работе? Или только по привычке думаю, будто люблю?

Правильного ответа на вопрос не было. По крайней мере, уж точно не прямо сейчас, потому что в таком настроении еще поди вспомни, что означает «люблю». Что при этом полагается чувствовать? Он не знал. Подозревал, что вообще никто ничего не любит, только влюбляются иногда, но это другое, это как раз понятно. Влюбляются в людей, а не в напитки. Не в предметы, не в помещения, не в города, не в образ жизни и тем более не в работу. Уж точно не в нее. Влюбленность – приятное состояние, спасибо биохимии организма; пока влюблен, тебе нравится все остальное, просто за компанию. Ну, почти все. Жалко, что влюбленность быстро проходит. По крайней мере, у него всегда было так.

Подумал, как часто в последнее время думал: может, зря я расстался с Сабиной. Я ее не любил, да и она не особо пылала, но на свадьбу надеялась до последнего, очень уж хотела детей. А дети, как говорит Йенс, необходимая штука для всякого думающего человека: когда окончательно понимаешь, что в жизни нет никакого смысла, можно сказать себе, что живешь ради них, и это будет как минимум не совсем уж бездарным враньем.

Сказать, что все эти раздумья за кофе не особо подняли ему настроение, означало бы здорово преуменьшить проблему. Но не подняли, факт.

Когда закончил работу, уже стемнело. И начался – даже не то чтобы дождь, а такая противная ледяная мокрая морось, от которой не помогает зонт, потому что она не падает с неба, а просто есть, сразу везде, включая пространство между одеждой и телом, добро пожаловать в подводный мир. Но все равно пошел не домой, а к Йенсу. Не в гости, а просто забрать машину. С утра не успел, а в обед просто не вспомнил, хотя вполне мог бы успеть обернуться; все лучше, чем в одиночку за горьким кофе страдать.

В последний момент, уже с улицы, вернулся в офис, открыл кладовку уборщицы, где хранились, помимо прочего, тряпки и губки, сунул в карман одну; подумав, взял и флакон с чистящим средством, не идти же за ним в магазин специально, завтра верну.

Такая вроде бы ерунда, но от решения стереть глупую надпись у него мгновенно прибавилось сил, и даже настроение начало подниматься. Великое все-таки дело, когда можно собственноручно исправить глупость, которую непонятно зачем совершил.

И уже ни усталость, ни голод, ни мерзкая промозглая «мряка», как называла такую погоду бабка, не смогли испортить ему прогулку. Так торопился, что шел почти вприпрыжку – где ты, испачканная стена? Сейчас до тебя доберусь! Ни единой буквы не оставлю от дурацкого Павла. Ишь, выискался тут.

...Стена была на месте, освещавший ее фонарь тоже. А вот надпись за день изрядно приросла – и словами, и цветом, и, чего уж, смыслами. Теперь там было написано в столбик:

«Меня зовут Павел, мне тридцать восемь лет.

Я художник. У меня есть кот.

Я – падший ангел. Господь отвернул от меня свой сияющий лик».

Строчка про художника и кота была ярко-зеленая. А сообщение про падшего ангела мерцало в темноте, как будто и правда самый настоящий ангел написал его пером, выдернутым из собственного поникшего крыла.

Несколько раз перечитал написанное. И честно говоря, отчаянно позавидовал этому новому, незнакомому Павлу тридцати восьми лет. Надо же, художник! Сумел, значит, сделать рисование настоящей профессией, в отличие от меня. И кота завел, такой молодец, а я все никак не решусь, как будто сам себе теперь мама с папой, которым проще все запретить, чем позволить и потом разгребать последствия – в частности, чистить лоток. Что Господь от него отвернулся, это, конечно, проблема. Но, с другой стороны, этот падший Павел хотя бы точно знает, что Господь есть. А что до сияющего лика, который теперь недоступен, так, положи руку на сердце, кто из нас, не-падших, не-ангелов, его вообще хоть когда-нибудь видел? То-то и оно.

Стереть надпись рука не поднялась. Да скорее всего и не получилось бы, маркеры без какого-нибудь хитрого специального растворителя не сотрешь. Поэтому он просто долго стоял у стены, зачем-то снова и снова перечитывал написанное; наконец развернулся и пошел прочь. Чувствовал себя озадаченным, сбитым с толку; самое удивительное, что ему внезапно понравилось быть таким. Лучше гадать, кто и зачем написал про кота и ангела, чем тосковать, раздражаться, ругать себя, жалеть неизвестно о чем, как сегодня с утра, как вчера ночью, как позавчера, как три года назад, как давным-давно, лет десять на самом-то деле. С тех пор, как окончательно перестал рисовать.

Рута

Случайно шла мимо; ай, да, конечно же, не случайно. Нарочно дала крюка, пошла домой дальней дорогой, чтобы посмотреть, как поживает сделанная ночью надпись. Светится, как вчера светилась, или уже нет? Прежде никогда не пользовалась светящимися маркерами, поэтому не знала, насколько они стойкие. И чего вообще от них ждать.

Еще издали заметила, что на стене появились какие-то новые буквы, ярко-зеленые и довольно мелкие, а она была без очков, так что разобрала написанное только когда подошла вплотную к стене: «Я художник. У меня есть кот».

Улыбнулась – надо же, чудны дела... неведомо чьи. Стоило на минуточку отвернуться, а мой падший ангел уже художник! Еще и кота завел.

Вдруг подумала: тот, кто сделал эту приписку зеленым, знает толк в милосердии. Не то что я, коза. Не подумала, каково это – падшим ангелом на земле жить. Даже вымышленным – явно не сахар. Хорошо, что кто-то позаботился, смягчил приговор. Или позаботилась? Тетки в среднем добрей и одновременно гораздо практичней, только я порчу статистику... Ай, неважно. Главное, что у моего случайно придуманного падшего ангела явно налаживается жизнь.

Пошла было дальше, но, повинувшись внезапному, ей самой непонятному импульсу, вернулась, достала из кармана Машкин маркер и дописала сразу после слова «лик»: «Но обещал снова обернуться ко мне, если я научусь любить».

Александр

Фотографию ему показала Эльза; ну вообще-то сразу мог бы догадаться, что именно так и будет. Эльза мимо этой стены на работу ходит, когда не опаздывает. А обратно – почти всегда. Не самый короткий, зато любимый ее маршрут. И всякие интересные надписи на стенах она уже который год коллекционирует; иногда остывает, но увидев что-нибудь по-настоящему необычное, заново загорается и начинает опять все подряд собирать. Так что, можно сказать, для нее старался, когда писал про кота и художника. Хотя грешен, даже не вспомнил об Эльзиной коллекции в тот момент.

– Еще вчера вечером там ничего не было, – рассказывала Эльза. – Чистая стена! За последние сутки надпись появилась. Вернее надписи. Их же явно сделали разные люди, и штука не только в том, что писали разными красками или фломастерами... – а кстати, чем?

Сказал, театрально разведя руками:

– Понятия не имею. Живьем посмотреть надо. По фотографии не разберешь.

Сам не знал, почему не признался Эльзе в авторстве зеленой строчки. Официальная версия – чтобы не разочаровать. Хотя почему она, собственно, должна разочароваться, выяснив, что лично знакома с одним из создателей странной надписи, объяснить не мог, хоть убей. Так что фуфло эта официальная версия. Никуда не годится. А другой у него не было. Вообще никаких разумных объяснений, кроме иррационально сильного желания сохранить этот пустяковый секрет.

Эльза нетерпеливо мотнула головой.

– И правда не разберешь. В общем, я имею в виду, что почерки тоже разные. И сама манера писать: сверху буквы большие, сразу под ними, другим цветом, совсем мелкие, хотя явно продолжают монолог. А нижние строчки даже крупнее верхних и натурально светятся, представляешь? Фотография не передает. В общем, на самом деле это не монолог, а обмен репликами. Совсем свеженький, так что может продолжиться. Ужасно интересно, что они еще придумают. Завтра снова мимо пройду.

Кивнул:

– Пройди обязательно. Вдруг и правда допишут? Мне теперь тоже интересно.

И снова перечитал надпись на фотографии:

«Меня зовут Павел, мне тридцать восемь лет.

Я художник. У меня есть кот.

Я – падший ангел. Господь отвернул от меня свой сияющий лик. Но обещал снова обернуться ко мне, если я научусь любить».

Последней фразы вчера ночью не было. То есть она появилась уже после его записи про художника и кота. И почему-то приводила его в неопикуемый восторг. Как будто благодаря этой приписке, милосердный Господь, в существование которого он не верил, а только смутно, втайне от собственного скептического ума надеялся – вдруг все-таки что-то непостижимо большое и милосердное, других нам здесь точно не надо, каким-нибудь образом есть –

простит своего падшего ангела. И погладит его кота.

Павел

Остановился на красный; никогда не понимал, зачем в этом переулке нужен светофор. Здесь одностороннее движение и вообще мало кто ездит. Вот и сейчас еще совсем не поздно, около восьми вечера, а у светофора, кроме него, никого.

По тротуару навстречу ему, от угла, шла какая-то длинноногая девица в шапке с тремя помпонами – только потому и обратил на нее внимание, что с тремя. И вдруг остановилась как вкопанная возле его машины, постояла немного, напряженно к чему-то прислушиваясь, и замахала руками, начала что-то кричать. Открыл окно, спросил:

– Что у вас случилось?

– Не у меня! – воскликнула девица. – А у вас! К вам котенок забрался в двигатель; ну или не в двигатель, где-то под капотом мяукает. Надо его достать!

Растерялся – как это? такое вообще бывает? – но сразу включил аварийку, заглушил мотор, вышел из машины, открыл капот. Оттуда и правда раздавался звонкий панический мяв.

Котенка они не увидели, очень уж было темно, но мяуканье стало гораздо громче. Он замер, не зная, что теперь следует делать; девица храбро сунулась под капот и принялась там шарить, бормоча: «кис-кис-кис». Но не преуспела.

– Теперь вы попробуйте, – наконец сказала она.

Он послушно сунул руку в щель между баками и сразу наткнулся на что-то мягкое. Подумал: сейчас, наверное, укусит, но котенок его даже не поцарапал, мягко, не выпуская когтей, наступил на ладонь, добрался до рукава и вот в него уже вцепился всеми четырьмя лапами, осталось только осторожно ухватить

зверька второй рукой за загривок и достать.

Котенок был серый и полосатый, такой классический дворовой кот, вернее пока только заготовка будущего дворового кота – маленький, невесомый, но с крупными крепкими лапами. Из рук он не вырывался, только таращился огромными, как у лемура глазами. Ну оно и понятно, перепугался, бедный дурак.

– Месяца три, не больше, – уверенно сказала девица. И деловито спросила: – Вы перед этим где парковались? Он в том дворе живет. Не отпускайте его тут, отвезите обратно. А если торопитесь, ладно, я сама отнесу, только скажите, куда...

Он осторожно, одним пальцем провел по полосатой спинке. И как будто какую-то тайную кнопку нажал: котенок сразу замурлыкал, да так громко, что непонятно, как можно было поместить источник такого мощного звука в крошечного кота.

Сказал:

– Не надо никого никуда носить. Я ему вроде нравлюсь. Давно собирался завести кота, да не решался. А тут и думать не надо, он все за меня решил сам.

Девица всплеснула руками, встряхнула помпонами и вдруг обняла его, расцеловала в обе щеки.

– Вы такой хороший! – сказала она. – Самый прекрасный! Мне всегда так этих мелких балбесов жалко, но дома уже своих трое, больше не потяну. А вы!..

Так растерялся, что ничего не ответил, а потом еще долго смотрел ей вслед. Только когда сел в машину и выключил аварийку, пожалел, что так легко ее отпустил. Надо было попросить остаться или, к примеру, предложить подвезти. Но не в надежде на новые поцелуи, а с целью получить консультацию. Он совершенно не представлял, как обращаться с котом.

Остановился на первой же парковке. Котенок смирно свернулся клубком на переднем сидении, тарахтел и таращил глаза. Достал телефон, нашел номер

бухгалтера Алисы, у которой жили две кошки; Алиса постоянно рассказывала о них. Поздоровался, извинился за неурочный звонок, объяснил:

– Я только что подобрал котенка. Посоветуйте, что мне надо в первую очередь сделать. Что ему купить и где это продается? И чем его лучше кормить?

Рута

С командировкой смешно получилось – совершенно о ней забыла. Ну то есть не забыла, конечно, просто перепутала день отъезда, явилась с утра на работу, а там все такие смотрят квадратными глазами: а ты чего сюда притащилась? Тебе же уезжать.

Счастье, что рейс был в тринадцать с чем-то, успела вернуться домой и собрать чемодан. В общем, нормально все получилось, не успела только сходить сфотографировать свою прекрасную настенную надпись. Еще вчера перед сном спохватилась, что надо: наверняка же ее быстро закрасят, и не останется ничего. И решила в обеденный перерыв обязательно до нее догулять. Но какой уж тут перерыв.

...Смешно сказать, все четыре дня, пока была в отъезде, совершенно всерьез волновалась: закрасят? или все-таки не закрасят, и надпись дождется меня? Обратный рейс был вечерний, домой добралась только в десять, начала было раздеваться, но передумала. Накинула пуховик и пошла.

Еще издалека увидела, что у стены кто-то топчется, замедлила шаг. Сперва решила, просто прохожий, фотографирует странную надпись, и его можно понять. Но, приглядевшись, поняла: не фотографирует, а что-то пишет. Ну надо же, как совпало, а.

Впрочем, может, ничего и не совпало, – думала она, топчась на месте и не решаясь ни подойти поближе, ни уйти прочь. – Может, это не тот, кто писал сначала, а кто-нибудь новый решил внести свой вклад в нашу переписку? Хотя новый – это же тоже хорошо. В том и смысл, что продолжить может кто угодно.

Я же сама как раз этим «кем угодно» была!

Наконец поняла, что будет ужасно жалеть, если не решится подойти к незнакомцу. Непонятно, о чем с ним говорить, с чего начать и как успокоить – вот это, кстати, вопрос, я бы сама ужасно смутилась, если бы кто-то меня застукал за таким идиотским занятием. Но все равно подойти надо. Нельзя упускать такой шанс.

Поэтому решительно пошла вперед и еще до того, как незнакомец ее заметил, громко сказала:

– Я тоже писала на этой стене!

Он обернулся, растерянно улыбаясь одной половиной рта, вторая на всякий случай сохраняла серьезность. И спросил:

– А что именно вы писали? Про художника и кота?

Хотела честно признаться, что писала про ангела, но в последний момент почему-то кивнула:

– Да.

Теперь улыбнулась и вторая половина рта незнакомца. Он сказал:

– Это я – Павел. До сих пор не понимаю, зачем это написал, не так уж много мы в тот вечер выпили пива. Но что сделано, то сделано. И знаете, что самое главное? Во-первых, кот у меня появился буквально на следующий день. Совершенно замечательный, лучший в мире, вечно голодный и очень ласковый кот. Причем я ничего для этого не делал, пальцем о палец не ударил, он сам забрался ко мне под капот. А во-вторых, я перетащил свой старый мольберт из подвала в квартиру. Хотел бы сказать, что он тоже сам вылез, но все-таки нет. И теперь хожу вокруг него кругами, не знаю, с какой стороны подступиться, лет десять уже не рисовал. Но ничего, подступлюсь, я теперь храбрый. И ваш должник. С меня причитается так много, что до Рождества не выпьете, даже если бросите все остальные дела. Но начать-то можно. Я хочу сказать, если вы не против, здесь за углом есть неплохой бар. Работает как минимум до полуночи; может

быть, дольше, не знаю, никогда в это время мимо не ходил. Но главное, сейчас-то он точно работает. А вы почему-то молчите. А я, между прочим, ужасно волнуюсь: вдруг вы откажетесь? Скажите хоть что-нибудь!

Пока незнакомец это все говорил, Рута им любовалась. И не потому, что такой уж красавчик; честно говоря, совсем нет. Точно не в ее вкусе. Но невероятно обаятельный, давно таких не встречала. Сразу хочется с ним подружиться, чтобы просто почаще быть рядом. Все-таки великое дело – внутренний огонь.

– С удовольствием, – наконец сказала она. – Только сначала я сфотографирую надпись. В первый раз как-то не подумала, а потом локти кусала. Боялась, закрасят. И сейчас специально за этим пришла.

Фотографию рассмотрела уже потом, дома. То есть почти четыре незаметно пролетевших часа спустя. Камера в телефоне была, мягко говоря, не очень, но ей удалось разобрать новую строчку, написанную бледно-синим мелом:

«Я решил: ладно, раз так, буду учиться. И начал с кота».

Александр

– Представляешь, ту надпись все-таки закрасили, – сказала Эльза.

Переспросил рассеянно:

– Что за надпись? – но тут же сам понял, о чем речь. Рассудительно заметил: – Ну так ничего удивительного. Все-таки почти полгода прошло.

– Это да, – согласилась Эльза. – Но я, знаешь, почему-то надеялась, что она останется навсегда. Хотя под конец совсем выцвела. Только маленькая зеленая строчка про кота и художника оставалась яркой, ничего ее не брало.

Этот желтый дом

Арина щелкнула телефоном, некоторое время недоуменно разглядывала мутное пятно на экране – какого черта, светло же совсем! – сделала еще два снимка, получились еще два примерно таких же мутных пятна. Тогда Арина решила, что в телефоне сломалась камера – в самом начале поездки! обидно, блин, слов вообще нет! – и не то чтобы даже по здравому размышлению, а просто от безнадеги сделала селфи, и оно отлично получилось; то есть на самом деле просто ужасно, перекошенная недовольная рожа, мятая от недосыпа, с красными веками и черными точками на носу, но по крайней мере, все четко. Даже несколько чересчур.

Арина поспешно стерла неудачное селфи, из папки «Недавно удаленные» тоже стерла, и только тогда перевела дух, как будто фотография могла самовольно разослаться всем знакомым, а потом на всякий случай еще и выложиться в интернет с Ариными паспортными данными и номером телефона, чтобы весь мир узнал, что эта уродина – не какая-нибудь левая тетя, а именно она.

Расправившись с компроматом, Арина сфотографировала ближайшее дерево, одуванчик под ним и кирпичное здание через дорогу – ну слава богу, с камерой точно нормально все – и снова повернулась к трехэтажному желтому дому с окнами, несимметрично разбросанными по фасаду, нелепыми псевдодорическими колоннами на непропорционально огромных балконах и жизнерадостно остроконечной черепичной крышей, подходившей строению, как корове седло, но, справедливости ради, в сумме дом все равно получился красивый. Точнее, очень приятный. Притягательный, как картинка из детской книжки. Смотришь, и сразу хочется, чтобы это был твой дом. Хотя на кой мне сдался дом в Риге? – устало подумала Арина. – Я же терпеть ее не могу.

На этот раз не щелкала как попало, навела камеру, подождала, пока изображение станет четким, наконец, коснулась экрана, аккуратно, неторопливо, чтобы не дрогнула державшая телефон рука, но на выходе все равно получилось мутное желтое пятно. Плюнула, развернулась и ушла, потому что пора было возвращаться в аэропорт, не то чтобы прямо бегом, до рейса еще два с лишним часа, но пока дойдешь до маршрутки, пока доедешь, плюс неизвестно, какая там очередь на секьюрити; в общем, лучше заранее, чем в последний момент, впопыхах, на нервах, бегом.

Пока ехала в маршрутке, послала маме одну из мутных фотографий и написала: «Я нашла твой дом еще засветло, но он все равно не получился целых четыре раза, и я сдалась, прости». «Представляешь, – тут же ответила мама, – у нас с папой то же самое было. Фотографировали на пленку, “Зенитом”, приехали домой, проявили, все снимки из поездки вышли отлично, а этот дом не получился, хотя фотографировали его несколько раз. Папа тогда очень расстроился. Я поэтому и попросила тебя сфотографировать дом, хотела сделать ему сюрприз. Извини!»

«Ой, да ну что ты, не за что извиняться», – ответила Арина, а сама подумала, что на обратной дороге у нее снова будет пересадка в Риге, правда не шесть часов, как сейчас, а чуть больше трех, но ладно, маршруткой до центра здесь получается очень быстро, надо будет смотаться и обязательно еще раз сфотографировать этот дом.

Но ничего не вышло: рейс задержали, так что когда приземлились, до пересадки осталось всего полтора часа, в город не съездишь. Уже по дороге из аэропорта Арина сообразила, что дом можно найти на гугл-картах, но и на карте вместо нормальной картинки было мутное желтое пятно. Ее это, по идее, должно было рассердить, как всегда сердили неожиданные препятствия, но почему-то наоборот, успокоило. Если уж карты Google не могут справиться с чертовым домом, какой с меня спрос.

Так и сказала потом: слушай, ну какой с меня спрос, если даже гугл не может, – и мама сочувственно покивала, призналась: я в интернете фотографии этого желтого дома на улице Стабу долго искала, но ни одной так и не нашла.

Арина хотела спросить: а чего он вам с папой так в душу запал? Или просто обидно, что на пленке ни разу не получился, и теперь хочется его победить? Но мама сама сказала, наливая ей чай: это был самый лучший наш отпуск. Да, лучше Праги и Барселоны и даже Венеции; я знаю, что тебе Рига не нравится, но каждому свое. Очень уж хорошо нам там было, вот правда, пока жили там, чувствовали себя, как в молодости, оба, и я, и папа, и дело даже не в том, что ничего не болело, хотя, кстати, и правда ничего не болело ни у него, ни у меня, видимо, рижский климат нам так удачно подходит... ну или не климат, не знаю. Помнишь, ты тогда писала диплом и обижалась, что я не спрашиваю, как движутся дела, а я не понимала, о чем тут спрашивать и зачем, совершенно не волновалась ни о твоём дипломе, ни о бабушкиной руке, ни о задержанном

папином гонораре, и не потому, что мне наплевать, просто знала, что все как-то само уладится, а если вдруг даже нет, потом разберемся, а пока у нас отпуск, и нам хорошо. Сама себя не узнавала, я же тревожная курица – ну чего ты смеешься? Оно так и есть. Но тогда в Риге все было иначе. Хотя дело не в самой Риге, мы же с папой и раньше несколько раз туда ездили, нам очень нравилось, но никакого сравнения. Так что все-таки дом виноват!

Заколдованный дом, – улыбнулась Арина, и мама совершенно серьезно ответила: знаешь, иногда я и сама думаю, что заколдованный. Некоторые факты иначе просто не объяснишь. Взять хотя бы двор с садом. Слушай, какой же там был огромный внутренний двор! С улицы ни за что не догадаешься, что за домом скрывается такое пространство; мы с папой кругами по кварталу ходили-ходили, так и не поняли, где тут помещается сад. Сад – не то слово, почти целый парк, причем со своим микроклиматом; нет, правда, там всегда было заметно теплее, чем в городе. И скамейки каким-то образом оставались сухими после дождливого дня. И росли деревья, какие в Риге, по идее, расти не могут... Да ну тебя, почему сразу пальмы? Пинии там росли, как в Италии; правда, всего две. И беседка была увита глицинией, я всегда думала, она более южная, но когда мы приехали, были майские праздники, и глициния в нашем саду цвела вовсю. А на лужайке перед домом стоял большой деревянный стол, за которым жильцы пили кофе; никаких специальных правил на этот счет не было, что ты, просто все соседи как-то сами, не сговариваясь, по утрам выходили во двор с чашками и тарелками, а вечером опять понемногу собирались, грех сидеть в помещении, когда есть такой сад, иногда кто-нибудь приносил вино, доставали шахматы или нарды, тогда засиживались допоздна, одни играли, другие просто разговаривали, и так душевно получалось, что жалко было уходить спать. Ты же меня знаешь, я вообще чужих не люблю, подолгу к каждому привыкаю, для меня светские разговоры с малознакомыми людьми – работа, совершенно невозможно расслабиться, но тогда меня как подменили, только рада была компании. Там еще, знаешь, все жильцы оказались какие-то удивительные. Таких людей вообще не бывает. Вернее, бывают, но чтобы сразу все собрались в одном месте – не верю! Чувствовала себя так, будто мы с папой попали в книжку. Даже не в книжку, а в сериал, такой хороший, что второго сезона не снимут никогда. Представляешь, на одном этаже с нами жила гадалка на картах Таро, маленькая огненно-рыжая немка в смешных круглых очках, с сыном-подростком, который присматривал за ней практически как отец, и правильно делал, она была настолько рассеянная, что иногда зачерпывала ложкой мороженое и отправляла его не в рот, а в нагрудный карман, но при этом умница редкостная, золотое сердце, светлая голова. Потом Томас, молодой, но очень серьезный эстонец с серебряными волосами, нет, не седыми, а именно серебряными, крашеными;

я однажды не удержалась, спросила, и он не обиделся, а рассказал, что красит их в честь погибшего брата, тот был чудаком и богемой, и теперь хочешь не хочешь, надо дочудить за него. Катя, хозяйка художественной галереи, и Лиза, то ли ее сестра, то ли просто подружка, я так и не поняла, красивая, как фотомоделка, которая всем рассказывала, что пишет роман, и каждому обещала, что обязательно вставит в книгу; я даже сперва испугалась, не хочу, чтобы про меня невесты что сочиняли, но Катя, когда сестры не было рядом, сказала мне по секрету, что волноваться не надо: Лиза пишет книги не навяву, а во сне. А еще там был дядя Липот, старик, который говорил только по-венгерски – представляешь, даже по-английски ни слова не знал, но так умел объясняться жестами, что мы все его понимали; тогда казалось нормально, но теперь, задним числом, удивляюсь, как это мы так. И другой старик, негр, черный как деготь, с белоснежными седыми кудрями – вот он на десяти языках говорил, если не больше, включая русский, который знал, как родной, хозяйка называла его «господин профессор», а он смеялся и добавлял: «кислых щей». А сама Агата, хозяйка – о-о-о, видела бы ты ее! Дама почти двухметрового роста, с вот такими плечищами, выглядела, как переодетый гвардеец, но надо сказать, очень красивый гвардеец, глаз не оторвешь. И консьержка – там в подъезде всегда сидела консьержка, миниатюрная азиатка, совершенно без возраста, настоящая фея-лиса, как у Пу Сунлина, и при этом такая строгая, невозмутимая, даже неумолимая, как фэбээровец из кино. Всегда выходила из своего закутка, провожала жильцов до порога, сама открывала дверь, говорила: «Хорошей вам прогулки по Риге» и слегка, почти незаметно кланялась, такой уж был у нее ритуал; я поначалу стеснялась, что она из-за нас подскакивает, но правила дома есть правила дома, они украшают и одновременно структурируют жизнь, так сказала Агата, и мы с папой подумали: ладно, если уж хозяйка считает, что консьержка должна всякий раз подскакивать, не стоит ей возражать...

Обычно немногословная мама сейчас тараторила так, что слова не вставить, но Арина все-таки вставила, просто из спортивного интереса. Спросила: так она что, круглосуточно там дежурила? И по ночам?

Не знаю, мы засыпали еще до полуночи, как набегавшиеся дети, очень уж сладко там спалось, – ответила мама и как-то внезапно погасла. Повторила: это был самый лучший наш отпуск, вот сейчас начала тебе рассказывать и поняла, что не могу объяснить, почему. Но до сих пор скучаю по этому дому, цветным витражам в подъезде, оранжевым шторам на наших окнах, из-за которых даже пасмурный день кажется теплым и солнечным, саду с глицинией, всей этой безумной компании, а больше всего – по самой себе, легкомысленной и веселой, какой я в те дни была. Всего десять дней мы там прожили, а кажется, много лет;

нет, не кажется, вспоминается. Ну как бы «вспоминается», на самом деле я понимаю, что просто мечтаю и фантазирую. Но все равно иногда почти верю своим фантазиям, потому что верить очень приятно. Странная все-таки штука человеческая голова. А папа как-то проговорился, что тот рижский дом ему часто снится, я тогда так и села, ты же знаешь своего папу, я была уверена, ему вообще никогда ничего не снится, он в жизни на такие темы со мной не говорил.

Но почему тогда вы с папой каждый год туда в отпуск не ездите? – удивилась Арина. – Сколько вы там уже не были? Одиннадцать лет?! Ну ничего себе, вы даете. Я бы точно постоянно моталась, если бы меня так проняло. Мама беспомощно пожала плечами: так мы бы и ездили, но в том доме с садом больше не сдаются квартиры, а поехать в Ригу и поселиться где-нибудь в другом месте, это теперь будет совсем не то. Мы иногда проверяем на трех разных сайтах, но нет, никогда, ничего. Наверное, Агата устала морочиться с туристами и пустила во все квартиры постоянных жильцов.

* * *

От: nekto

vnezapno

Кому: Tomas_no_More

Томка, я внезапно (на самом деле нет, но «внезапно» звучит гораздо круче, чем «по работе») оказался в Мюнхене, и сразу (ладно, на третий день) вспомнил, как ты рассказывал, что несколько лет тут прожил, про смешной желтый дом на Янштрассе с тайным садом и суровую китаянку на входе; в общем, я решил сходить посмотреть на это чудо своими глазами, благо живу буквально в двадцати минутах ходьбы оттуда. Короче, дорогой друг, я там был.

Хорошая новость: твой дом на месте. Оказывается, ты его не сочинил! Точно такой, как ты его описывал, совершенно нелепый на фоне аккуратных соседних домов и на их же фоне необъяснимо, нелогично, по-дурацки прекрасный, как ты и рассказывал. В общем, вторая хорошая новость: мне нравится твой желтый дом.

Плохая новость: внутрь я не попал. Что обидно. Я заранее заготовил убедительную речь о друге, который тут жил, несколько раз позвонил, но мне не открыли. Видимо твою любимую китайскую консержку уволили, и теперь жильцы открывают подъезд своими ключами – разумный эконом-вариант. Ну или я такой уникальный счастливчик, что в честь моего прихода консержка отлучилась в уборную и упала там в обморок. Например. Зная свою специфическую удачу, совершенно не удивлюсь.

А теперь смешная новость: я решил послать тебе фотографию дома, чтобы причинить немислимые страдания (зачеркнуто) альтернативно порадовать. И тут внезапно заглянул айфон. После очередной попытки сфотографировать твой распрекрасный дом я чуть не выбросил его в ближайшую урну, но пожалничал и, забега вперёд, правильно сделал, он очухался и снова нормально фотографирует. Но желтый дом на Янштрассе остался в моем архиве позорным мутным пятном. Доказательства в файле, три штуки. Пойду пить с коллегами какое-то легендарное монастырское пиво, а ты сиди и завидуй. В смысле любуйся моими шедеврами. Жизнь несправедлива, зато она жизнь.

От: Tomas_no_More

Ответ: внезапно

Кому: nekto

Спасибо. Крутое пятно. Кстати, бледная клякса в центре, похожая на дырку в сыре, судя по расположению, мое бывшее окно.

* * *

Мы с мамой почти полтора года жили в Кракове, – отвернувшись к окну, говорит Себастьян, – на улице моего тезки, Святого Себастьяна, это между Старым городом и Казимежем, отличный район. И дом был отличный, желтый, как канарейка, очень смешной, я имею в виду, такая эклектика не всякому авангардисту в бреду примерещится: помесь сурового конструктивизма с расслабленным средиземноморским стилем, а сверху мансардная черепичная крыша, подходящая ему, как равнину кокошник. Понимаю, звучит не очень, но

почему-то в сумме дом был очень хорош. В подъезде внезапно современные кованые перила и цветные оконные витражи, в квартирах – неожиданно, несоразмерно огромные балконы; мама, конечно, сразу развела там целый сад, а я потом его поливал, потому что она забывала, но я был не против, мне даже понравилось возиться с растениями. Работы на пять минут в день, а результат впечатляет, каждое утро что-нибудь новенькое цветет. Но наш балкон не шел ни в какое сравнение с садом за домом, вернее, во внутреннем дворе, вот там был всем садам сад! С улицы туда нельзя было попасть, только через подъезд, где по очереди дежурили хозяйка дома Агата и консьержка Агнесса, похожая на китайку, очень красивая, но не как настоящая женщина, а как картинка, я даже боялся случайно к ней прикоснуться, вдруг нечаянно продырявлю бумагу, на которой она нарисована, и что тогда? В общем, чужих в сад не пускали, зато всем жильцам можно было сидеть там дни напролет; я и сидел с какой-нибудь книжкой под красивой странной сосной. Ну то есть как – странной, под самой обычной пинией. Просто тогда увидел ее в первый раз, мы на юг почему-то никогда не ездили, в Италию я уже вполне взрослым попал.

Это было отличное время, может быть, вообще самое лучшее в моей жизни, – говорит Себастьян; за окном нет ничего интересного, только темнота и огни, но он все равно туда смотрит так упорно и сосредоточенно, словно за кем-то следит. – Мама тогда только что развелась с отцом; понимаю, звучит не особенно жизнерадостно, но мы с ним друг друга едва терпели, поэтому я был рад. И маму он к тому времени своими выходками уже так достал, что она расцвела в разлуке. С деньгами у нас сразу стало не очень: деньги в семье были отцовские, вернее, его покойных родителей. Но мне было плевать. Мне даже нравилось, что я больше не богатый – не такой, как отец, мне тогда было важно чувствовать себя во всем не таким, как он. И в конце концов, именно из-за нехватки денег мы переехали в Краков, красивый город, где можно отлично прожить на гроши, и поселились в самом лучшем в мире доме с прекрасным садом: его хозяйка пани Агата была то ли теткой, то ли кузиной одной из маминых подружек и очень дешево сдала нам тесную трехкомнатную квартиру с огромным балконом. Из-за балкона и сада за домом эта квартира казалась мне лучше любого дворца.

Мама тогда зарабатывала гаданием, – говорит Себастьян. – Понимаю, звучит не очень, это занятие считается шарлатанством; наверное, в большинстве случаев так и есть, но у мамы настоящий талант, то, что называют призванием. Она

никогда не ошибается, как скажет, так все и будет, поэтому, кстати, никогда не гадают близким, боится что-то плохое о нас узнать. Так ни разу мне и не погадала, а ведь как я ее просил. Зато всегда охотно гадала своим подружкам и их знакомым, и знакомым знакомых, всем. Пока мы жили с отцом, брала за гадание символическую плату, мелкие монетки, потому что по каким-то эзотерическим правилам нельзя совсем бесплатно гадать. А после развода решила просить за гадание настоящие деньги, тридцать евро или злотых по курсу. Я был уверен, ничего не получится, откуда в Кракове возьмутся желающие узнать свое будущее, да еще и на немецком языке, но дело, как ни странно, пошло неплохо, старые клиентки и их протеже переводили деньги на банковский счет и звонили маме по телефону, а она раскладывала им карты с телефонной трубкой в руках. А потом и местные подтянулись – когда я выучил польский и наловчился переводить. Это было очень смешно: пани Агата почему-то не одобряла гостей, поэтому мама принимала клиентов в кофейне, а я сидел при ней переводчиком в специально купленном строгом костюме, чувствовал себя кем-то вроде говорящего попугая, но мне даже нравилось. Как будто играю в спектакле, или снимаюсь в кино.

В общем, мама всю развлекалась, – говорит Себастьян, прижимаясь лбом к деревянной оконной раме, – а я экстерном заканчивал школу, то есть счастливо бездельничал. Учеба всегда давалась мне легко, я даже польский язык освоил буквально месяца за четыре; мы переехали в Краков в начале осени, а уже к Рождеству я уже вполне свободно разговаривал и всех вокруг понимал. Просто у меня тогда была, как говорится, «фотографическая» память – один раз прочитал или просто услышал и запомнил практически наизусть. С возрастом это прошло, как у всех вундеркиндов вроде меня проходит, но мне до сих пор нравится думать, что «фотографическая» память прошла не «с возрастом», а после – и в результате – того, как я стал фотографом. Это одновременно логично и совершенно абсурдно, в сумме – очень смешно.

Поэтому, – говорит Себастьян, – у меня было очень много свободного времени. И я употреблял его с пользой – на просто-жизнь. Понимаю, звучит не очень, но я всегда считал упоительные паузы между обязательными делами самым полезным занятием в мире и самым увлекательным приключением, даже когда событий раз-два и обчелся. Важны же не сами события, а то, что ты в связи с ними думаешь и чувствуешь. А я всегда думал и чувствовал очень много чего, по любому поводу и вовсе без повода; когда начинает казаться, будто ничего

интересного не происходит, мне бывает достаточно подставить руки под текущую воду, переломить пополам спичку, выглянуть в окно. Но пока мы жили в этом краковском доме, спички можно было не ломать. Ощущений и впечатлений всегда оказывалось даже больше, чем я способен переварить.

Одни только мои тайные ночные вылазки в сад чего стоили, – говорит Себастьян, и по голосу ясно, что улыбается. – Я дожидался, пока мама уснет, тихонько выходил в подъезд, спускался вниз по мраморной лестнице; мы жили на третьем этаже, но иногда по ночам этажей между нами и первым становилось как минимум пять, если не все восемь, на лестничных площадках появлялись какие-то новые, незнакомые двери, одни резные и лакированные, другие железные, третьи с хитроумными закорючками вместо номеров квартир; я почему-то никогда не решался остановиться и внимательно все рассмотреть. Не боялся, не в этом дело, скорее не хотел доставить странным новым дверям неудобство своим пристальным взглядом, смутить излишним вниманием, помешать им быть; звучит, понимаю, не особенно убедительно, но так я это себе объяснял.

Я спускался на первый этаж, – говорит Себастьян, – проходил мимо темного закутка, где днем сидела консьержка Агнесса или сама пани Агата; ночью там тоже кто-то сидел, я не видел, но чувствовал, поэтому говорил: «Доброй ночи, я иду в сад», – и неизменно – не то чтобы именно слышал, скорей ощущал ответ, такое снисходительное добродушное разрешение, больше похожее на ласковое объятие, чем на что-то еще. Меня вообще в этом доме любили; не кто-то конкретный, не пани Агата, не дедушка Липот, который учил меня венгерскому, не красивая русская девушка, однажды пообещавшая вставить меня в свой роман, не чернокожий профессор, с которым играли в шахматы, и он слегка поддавался, чтобы я не утратил интерес к игре, хотя, наверное, все они тоже считаются, но, самое главное, я был уверен, знал без тени сомнения, что меня любит весь этот странный прекрасный таинственный дом. И я в него тоже влюбился, конечно, не как в девчонку, но... знаешь, на самом деле немножко похоже. Любовь есть любовь.

...Нет, что ты, – говорит Себастьян, – ничего такого особенного ночью в саду не творилось. Я имею в виду, там не было привидений, вампиров, добрых волшебников, желающих срочно меня посвятить в свое мастерство, тайных ворот в иные миры или хотя бы пришельцев, ничего такого, как в книжках или кино. Просто тихо, безлюдно и беспричинно, но явственно счастливо, как обычно

бывает летней ночью у теплого моря – это я только потом, через несколько лет узнал. И, кстати, о южных морях, там, в саду, всегда было заметно теплее, чем в городе, даже зимой. И снег никогда не лежал, если и падал, то сразу же таял; тогда это почему-то казалось нормальным – не только мне одному, маме и нашим соседям тоже – а сейчас, задним числом, понимаю, что вообще-то не может такого быть, это же не какая-нибудь теплица, обычный сад. И звезды в небе над этим садом иногда складывались в знакомые мне созвездия, а иногда в какие-то незнакомые; я понимал, что это как минимум странно, но не тревожился. И ни с кем никогда не обсуждал.

Мы прожили там почти полтора года, – говорит Себастьян. – А потом внезапно умер отец, я получил наследство, мама была назначена опекуном; все эти дела требовали нашего возвращения, объективно требовали, что тут возразишь; в общем, из Кракова мы сразу уехали, и я еще долго сердился на отца: даже своей смертью умудрился все мне испортить, обломал такую прекрасную жизнь. Глупо, несправедливо сердился, это я теперь понимаю. Но, кстати, он бы на моем месте точно так же сердился. Все-таки я иногда до смешного на него похож.

...Конечно, я собирался вернуться, еще бы! – говорит Себастьян. – Но сначала были все эти дела с наследством и мои выпускные экзамены, потом мама захотела в кругосветное путешествие, ездили с ней целый год, потом я начал учиться в Художественной академии, и мне временно стало больше ни до чего, а потом пошла работа, заказ за заказом, мне с ними, ты знаешь, как-то всегда везло. В общем, сам не заметил, как одиннадцать лет пролетело. В прошлом году наконец-то доехал до Кракова, но вернуться туда по-настоящему мне, конечно, не удалось. И нет, это не о том, что в детство не возвращаются, я и не собирался, зачем мне какое-то детство, я просто хотел навестить свой любимый смешной желтый дом. Надеялся, Агата с Агнессой меня узнают, обрадуются и разрешат посидеть в саду. Еле его нашел, не помню с какой попытки, но знаешь, лучше бы не находил: стоит пустой, заколоченный; что стало с садом, не знаю, с улицы туда не пройти. Понятия не имею, что у них там случилось. Нет, мама не переписывается с Агатой. Они не поссорились, просто мама потеряла номер ее телефона и забыла, кто из подружек дал ей рекомендацию, всех спрашивала, никто не признался. Ну нет и нет, тем дело и кончилось. Понимаю, звучит нелепо, но надо знать мою маму. Она же и правда феноменально рассеянная, ложку с десертом может сунуть не в рот, а в карман; я не шучу и не преувеличиваю, такое на моей памяти случалось несколько раз.

А знаешь что самое странное? – говорит Себастьян, наконец отворачиваясь от окна. – Мама, когда узнала, что я собираюсь в Краков, попросила сфотографировать для нее наш дом. А я не смог это сделать. Не об эмоциях речь; мне и правда не особо хотелось – все равно, что фотографировать на похоронах. Но ладно, если ей надо, то мне несложно: щелкнул, почти не глядя, развернулся, ушел. Только потом, в гостинице, увидел, что снимок не получился, вместо дома мутное желтое пятно. Это было так нелепо, что даже глупо расстраиваться. Но я все равно ужасно расстроился – хорош профессионал! Поэтому на следующий день я туда вернулся и снимал уже не на тят-ляп, а как будто делал заказ. Но представляешь, и это не помогло. Максимум, что удалось выжать из камеры, – вот этот, прости господи, сюрреализм, – и Себастьян достает из ящика письменного стола конверт, а из конверта – отпечатанный снимок, на котором сияет что-то вроде желтого туманного яйца с окнами и балконами. Выглядит, как будто ему удалось сфотографировать сон.

* * *

– Я заехала в Тулузу! – говорит Мадлен; то есть практически кричит, потому что дед слегка глуховат, это почти незаметно, но по телефону ему все-таки трудно речь собеседника разбирать, Мадлен это знает и орет в трубку как резаная, четко, практически по слогам. – Мне было не совсем по дороге, но я заехала, специально для тебя! Нашла там улицу Парадоксов, она и правда отличная. И переулок, в котором твой желтый дом. Он прекрасный! Я его сфотографировала, как ты хотел, и быстро побежала к машине, чтобы успеть в Барселону до темноты...

– Спасибо, детка, – отвечает ей дед, он рад, и Мадлен чуть не плачет, потому что вроде бы ерунда, но ужасно, ужасно обидно. И дед, наверное, теперь будет думать, что ни в какую Тулузу она не заезжала, а просто ему наврала. Но лучше все-таки прямо сейчас все сказать.

– Я только теперь увидела, что дом очень плохо у меня получился, – кричит Мадлен. – Просто какое-то пятно. Представляешь? Ужасно обидно! Когда еще я теперь снова в Тулузу попаду. Даже не знаю, что делать...

– Ну как – что делать, – отвечает дед, и Мадлен практически видит, как он сейчас смеется одними глазами, раскачиваясь в гамаке. – Готовиться к тому что

я лишу тебя за это наследства. Не скажу, где в саду закопана консервная банка с альтернативным решением теоремы Ферма!

* * *

– А в этом смешном желтом доме мы с Катькой жили, – сказала Лиза. – Лет, наверное, десять назад... слушай, нет, больше! В общем, так давно, что, считай, почти никогда. Я тогда приехала в Прагу поступать в киношколу, предсказуемо провалилась на первом же собеседовании, но решила, что все равно тут останусь, хоть тушкой, хоть чучелом, хоть нелегалкой на птичьих правах, лишь бы не возвращаться домой к родителям, которые теперь до конца дней будут бухтеть: «А мы тебе говорили, что ничего не получится! Только деньги потратила зря». Комната была оплачена до конца следующего месяца, что дальше, я понятия не имела, целыми днями ходила по улицам, чуть не плача от красоты, сэкономила деньги, почти ничего не ела, нашла одну кофейню с «подвешенным» кофе, то есть бесплатным, как бы в подарок от других посетителей, его и пила, была счастлива и пьяна от свободы и одновременно непрерывно умирала от страха, представляя, как меня вот-вот арестуют за просроченную визу и вышлют из страны; в общем, чуть с ума не сошла. И тут внезапно вытащила из колоды событий самого козырного в мире туза: познакомилась с Катькой. Она меня натурально спасла. Взяла работать в свою галерею, хотя толку от меня там поначалу было меньше, чем от уличного кота. И самое главное, предложила пожить у нее в квартире, сколько захочу. Сказала, дальняя комната все равно пустует, а одной иногда становится неудобно, особенно по вечерам. Я уже потом поняла, что не было ей неудобно. Куда там! Просто Катька умеет вывернуть все таким образом, как будто это ее в трудный момент выручили, а не она всех спасла. И не только со мной, с другими тоже, я видела много раз. Иногда я думаю, что Катька – замаскированный командировочный ангел; смешно, я вообще-то в традиционного бога не верю, но в добрых ангелов, один из которых Катька, получается, все-таки да... А знаешь что? Давай позвоним консьержке? Если сейчас нам откроют и пустят, я такое тебе покажу!

– Ну и не очень хотелось! – обиженно фыркнула Лиза после того, как несколько раз нажала кнопку звонка, а потом, бормоча: «Наверное, не работает» долго, старательно, буквально с каждой секундой утрачивая деликатность, стучала в дверь. Но тут же призналась: – Вру. На самом деле еще как хотелось. Надеюсь,

может, Агата дома, выйдет посмотреть, кто так шумит, узнает меня, обрадуется, пригласит выпить кофе в саду. А я как раз и хотела сад тебе показать. Он тут большой-пребольшой, глядя с улицы, ни за что не подумаешь. Там даже пинии растут, отлично себя чувствуют, хотя здесь для них, по идее, все-таки холодно. Или нет? На самом деле не знаю, ботаник из меня тот еще... Ладно, в сад не попали, хоть сфотографирую дом на память, – вздохнула Лиза, доставая телефон из кармана. Сделала фото, посмотрела, удовлетворенно хмыкнула: – Ха-ха, и тут полный провал!

– На самом деле даже приятно, что некоторые вещи остаются неизменными, – сказала Лиза, спрятав в карман телефон. И объяснила: – Это такой загадочный феномен, какая-то локальная аномалия, никто никогда нормальную фотографию нашего дома сделать не мог. Ну мне, положим, тогда нечем было фотографировать, но у Катьки была совсем неплохая камера по тем временам. И у некоторых соседей. Точно помню, кто-то еще жаловался, что никак не может нормально сфотографировать дом, чтобы были видны детали. Вечно все расплывается мутным пятном.

– Даже не знаю, как объяснить, почему этот дом и все, что с ним связано, кажется мне таким важным, – вздохнула Лиза, отставив в сторону чашку с кофе, который они сели пить в шести кварталах от желтого дома, ближе ничего приличного не нашлось. – Отчасти потому, что я тогда рискнула, как дура, осталась в Праге без денег и документов, сейчас бы ни за что не решилась, вспоминаю – вздрагиваю: оооооой, как жива-то вообще осталась? И тут вдруг страшный чужой заграничный мир взял меня на ручки и все уладил, практически без моих усилий, сам, даже с продлением визы помогли какие-то Катькины клиенты, и это было совсем уж необъяснимое чудо, до сих пор не понимаю, как.

В общем, – подытожила Лиза, – три года в этом чудесном доме стали чем-то вроде награды за храбрость. И одновременно наглядным свидетельством, что храбрые малолетние дуры не обязательно пропадают пропадом, что иногда бывает иначе, что можно, можно и так! Но дело не только в награде. Попала бы я туда благополучной девочкой, поступившей на первый курс Киношколы, все равно был бы примерно тот же эффект.

У меня, – улыбнулась Лиза, – о том времени остались такие воспоминания, словно я при жизни побывала в раю. Комната с оранжевыми занавесками, огромный балкон, какие-то немыслимые витражи в подъезде, бывало спускаешься утром по мраморной лестнице и кажется, будто живешь во дворце. А сад! Как же все-таки жалко, что я не смогла тебе его показать! И хозяйка дома Агата меня опекала, как родную – не дочку, конечно, а, например, племянницу. Все время угощала чем-нибудь вкусным и книги из своей библиотеки давала читать. В общем, такая у меня была жизнь, что если книжку о ней написать, никто не поверит, скажут: что за чушь, так не бывает, даже неловко за наивного автора... Кстати, о книжках, вот сейчас я тебя насмешу! Я же там всем соседям врала, будто пишу роман. Понятия не имею зачем. Не то чтобы мне хотелось стать писательницей – нет, вообще никогда. Но один раз случайно ляпнула, и все, понеслось, не признаваться же, что обманула. Ходила вся из себя такая загадочная, как будто обдумываю очередную главу, и с важным видом каждому обещала, что сделаю его персонажем романа. И они, бедные, верили, одним было приятно, а другие смущались, просили о них не писать. Но я была неумолима! – фыркнула Лиза. – Говорила, делайте что хотите, а все равно про вас напишу. В конце концов так завралась, что этот роман уже начал мне сниться. Как будто я сижу в своей комнате и его пишу. Жалко, подробностей совершенно не помню, там был какой-то интересный, почти детективный сюжет... Просыпалась усталая, на работе носом клевала полдня, а Катька смеялась: поделом тебе, дорогуша! Дала слово, держи, хотя бы во сне.

– Будь моя воля, – призналась Лиза, – я бы никуда из этого дома не уезжала. Так бы до сих пор там и жила. Но Катька внезапно укатила в Берлин, и все, с концами. Ее там позвали работать куратором в какое-то дико престижное место, «предложение, от которого невозможно отказаться», – так сказала она, когда я привезла ей вещи. Катька настолько резко сорвалась, что почти ничего с собой не взяла, а возвращаться ей было некогда, пришлось выручать. В итоге даже Катькину галерею мы с нашим бухгалтером Войцехом вдвоем без нее закрывали. Работа моя, таким образом, закончилась; я понемногу искала другую, но было ясно, что с квартиры скоро придется съезжать: с такими зарплатами, как мне предлагали, в одиночку аренду не потянуть. Катька звала к себе в Берлин, но без особого энтузиазма; оно и понятно: я была для нее частью пражской жизни, которая уже осталась позади, бывшей любимой подружкой, тут ничего не поделаешь, по себе знаю, как перелистываются страницы судьбы. В общем, пока я думала, как жить дальше, у меня закрутился роман с Жоаном, и все так стремительно понеслось, что через четыре месяца я уже оказалась замужем. И

почему-то в Бильбао. В общем, опять все решилось само.

– Все-таки очень жалко, что нам не открыли, – сказала Лиза, когда они ждали трамвай. – Обидно, хоть плачь. Я знаю, что нельзя войти в одну реку дважды, но я же и не собиралась! Хотела просто пройти мимо этой реки по берегу, рукой помахать.

* * *

Катя смотрит в окно. За окном ничего интересного, только темная улица, редкие фонари. Так выглядит моя жизнь, – думает Катя. – Несколько огней в темноте – мои шаги. Один из уличных фонарей не горит, поэтому промежуток между соседними с ним фонарями вдвое больше, чем между остальными. Это шаг, который я не сделала, – думает Катя. – И ведь уже тогда заранее знала, что буду локти кусать. И согласилась с этим. Сама выбрала так. Но на то и жизнь, – думает Катя, – чтобы иногда ошибаться, делать неправильный выбор. А счастливая жизнь – это когда у тебя есть возможность переиграть. Я счастливая, – думает Катя, – я все-таки очень счастливая. Мало кому так везет.

...Катя выходит из дома, берет велосипед. Звонить обязательно надо из телефона-автомата, с мобильного ничего не получится, так сказала Агата. Молодец, дотянула до момента, когда телефонных будок осталось совсем мало, но слава богу, они все-таки еще есть. На вокзалах точно остались. А до ближайшего вокзала отсюда, если верить гуглу, около восьми километров. На велосипеде – нормально, недалеко.

Катя стоит в телефонной будке, набирает номер, записанный в старом блокноте, таком истрепанном, что в нем остался хорошо если десяток страниц, исписанных загадочными цифрами и бессмысленными фразами: «Девушка-осциллометр», «Вектор знамения», «Йозеф копать потолок». Черт ее – меня! – знает, что я имела в виду, когда это записывала, – удивляется Катя. – И ведь была свято уверена, что потом пойму.

Катя, конечно, помнит этот номер. За почти одиннадцать лет выучила наизусть. Но блокнот все равно нужен – как магический амулет, как таблетка под языком, как оружие против собственной нерешительности. В конце концов, это же Агатин подарок – блокнот.

Катя набирает код 8813; она, конечно, уже гуглила, что за страна такая. В интернете пишут, мобильная спутниковая связь, а как оно там на самом деле, черт его знает, – думает Катя. – С другой стороны, почему бы Агате не поддерживать связь через какой-нибудь спутник? Чем она хуже инопланетян?

...Катя почти улыбается, представляя Агату верхом на летающей тарелке, и набирает дальше, до нелепого длинный номер из целых восемнадцати цифр. Раздается самый обычный долгий гудок, второй, третий, и вдруг: «Я вас слушаю». Агатин голос. Незабываемый. Агата! Точно Агата. С ума сойти. С ума сойти.

Катя говорит: доброй ночи, Агата, я Катя. «Знаю, что Катя, – отвечает Агата. – И очень рада тебе». Извините, что вот так среди ночи, я давно хотела вам позвонить, но боялась, – говорит Катя. «Знаю, что ты боялась, – отвечает Агата. – Сама бы на твоём месте боялась. Это вообще нормально – бояться в такой ситуации. Позвонишь, а там “неправильно набран номер”. Или просто долгие гудки». И тогда Катя спрашивает, как будто ныряет в бассейн с вышки, вниз головой: а на какой улице вы в Берлине? «На Яблонскиштрассе четырнадцать, – отвечает Агата. Добавляет: Чтобы долго не искала, это Пренцлауэр-берг», – и кладет трубку прежде, чем Катя успевает сказать: «Я знаю». Вот и все, – думает Катя. – Отступить некуда. Вот и все.

Катя крутит педали велосипеда, не так быстро, как, наверное, следовало бы, когда стремишься к заветной цели, но и не так медленно, как требует паникующий ум; впрочем, вся остальная Катя спокойна, даже сердце не колотится бешено, а стучит, как положено при умеренной привычной нагрузке: тук-тук-тук. Так же спокойно оно стучало, когда Катя, влекомая любопытством, подстрекаемая азартом – чем я хуже соседского мальчишки? он по ночам тут всю гуляет, а мне что, слабо? – спускалась по мраморной лестнице любимого пражского дома в начале третьего ночи, всего лишь со второго этажа на первый,

восемнадцать пролетов. Восемнадцать! Считала сама. Во все глаза разглядывала двери на невесть откуда взявшихся лестничных клетках, огромные, как ворота, и такие маленькие, что, только пригнувшись, войдешь, деревянные, стеклянные, металлические, разноцветные, белые, сверкающие позолотой, черные, как сама тьма, с четырехзначными номерами, буквами, иероглифами, неведомыми закорючками, картинками, как в детском саду, хотела остановиться, рассмотреть получше, но почему-то только ускорила шаг, не от страха, ей совершенно точно не было страшно, скорее неловко, как за влюбленными в парке подсматривать, не хочется помешать, смутить. В какой-то момент начала беспокоиться, что первый этаж не наступит уже никогда, и что тогда делать? возвращаться к себе, на второй этаж, в бесконечную высь, пешком, без лифта? Вот это попала, мать! – думала тогда Катя, ей так и не стало страшно, только немного досадно и очень, очень смешно.

Катя останавливается в маленьком сквере, возле первой же скамейки, все-таки надо перевести дух, прислоняет велосипед к ближайшему фонарю, садится, достает сигареты. Она привыкла курить, когда хочет взять паузу и подумать, так проще всего.

Катя курит и вспоминает, как бесконечная лестница с фантастическими дверями внезапно закончилась, она наконец спустилась на первый этаж, и сразу устала на пустой закуток консьержки, мальчишка был прав: вроде бы нет никого, а все равно ясно, что есть. Подумала, внятно, четко, как будто сказала, только без голоса: я хочу выйти в сад, – и не услышала, но явственно ощутила ответ, веселое и одновременно немного сердитое: «Врешь!» Хотя Катя не врала, не хитрила, она действительно собиралась просто заглянуть в сад, соседский мальчишка обмолвился, что по ночам там даже красивее, чем днем, и Катя тогда сама себе удивилась: надо же, пятый год живу в этом доме, а ночью в саду до сих пор не была. И ведь не то чтобы рано ложусь, просто как-то в голову не приходит гулять в саду по ночам, даже выйти в подъезд просто так, без нужды кажется странной идеей – что там делать ночью? Что ты собралась рассматривать? Зачем? Удивительно, раньше, еще недавно первым делом бы побежала исследовать, что творится в доме, когда все спят, как в детстве тайком от родителей по ночам лазила на чердак. Совсем взрослая стала, превратилась в скучную тетку, так нельзя, – подумала тогда Катя. И пошла ночью в сад, чтобы не быть хуже храброго мальчишки-соседа, вернее, хуже бывшей самой себя, никаких других планов у нее не было, какие вообще могут

быть планы у человека в домашней пижаме, не настолько похожей на спортивный костюм, чтобы гулять в ней по улице. Но в последний момент, то ли сбитая с толку неведомо чьим веселым безмолвным «врешь», то ли просто все перепутав, пошла не к выходу в сад, а к парадной двери, ведущей на улицу. Прежде, чем сама поняла, что делает, привычно нажала защелку, потянула на себя дверь, шагнула вперед, ахнула, отшатнулась и замерла на пороге, вцепившись руками во что-то теплое, доброе и надежное, тогда показалось – просто в дверной косяк, потому что за дверью вместо знакомой Сохаржской улицы был, как ей показалось, весь мир сразу, еще подумала, вспомнив Борхеса, «Алеф», но нет, не весь мир и не Алеф, просто великое множество, несколько – сотен? десятков? тысяч? – разных ночных городов сияют своими лунами, фонарями и окнами, чернеют деревьями, гудят автомобильными сигнализациями, верещат потревоженными птицами, смеются влюбленными парами, пахнут жареной рыбой, ванилью, бензином, гниющими фруктами, морем, разогретым асфальтом, пролитым пивом, цветущими сливами, грушами, сиренью, жасмином, акациями – это уж где что сейчас расцвело. И Агата – конечно, теплое-доброе был не дверной косяк, а просто Агата, хозяйка желтого дома, всех желтых домов во всех временах, городах и мирах – объяснила, не дожидаясь вопроса: просто этот дом слишком хорош, чтобы быть только в одном городе. Поэтому мы с ним решили быть сразу во всех городах.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Письменный вызов на дуэль (фр.)

Купити: <https://tellnovel.com/maks-fray/neizvestnym-dlya-menya-sposobom>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)